

ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

**Спб., 1856— “Губернские очерки” Н. Щедрина
 (“Русский вестник”, 1856, № 16 и 18)**

Во всех литературных и во всех новых литературных поколениях (пока эти поколения не состарились) бывает заметна рутина особого рода, которую всего приличнее назвать рутиной заносчивости. Мы все видали, и у нас, и в Германии, и во Франции, целые кружки писателей и ценителей, положительно убежденных в том, что ими одними движется вся словесность их родины, что перед их деятельностью меркнет деятельность предыдущих периодов словесности, что следующим литературным поколениям не остается почти никакого дела и никакой заботы, кроме подражания их труду и какого-то вассальства к их убеждениям. В заносчивости подобного рода есть своя частица искренности, довольно милой. Давно ли Виктор Гюго и его поклонники хотели пересоздать драматическое искусство всего мира, давно ли Гервег с своими друзьями ополчался против старых авторитетов Германии, давно ли Жорж Санд мечтал не более не менее как о пересоздании всего общественного устройства. Издеваться над такими проявлениями заносчивости невозможно, особенно в то время, когда их время прошло окончательно. Кто-то сказал, что ничто не может быть привлекательнее юного писателя, бродящего по Парнасу с горделиво поднятым носом и несокрушимою верою в свое великое значение. Действительно, покуда

молодость и заносчивость выходят из искреннего сердца, ими стоит любоваться, с ними нельзя обходиться жестоко и холодно. Но бывает другая пора, пора обветшалости и рутины, весьма часто сменяющая собой период искренней юности в убеждениях. В эту пору ценители начинают бредить устарелой новизной и видимо клониться к

176

исключительности в теориях. Остановясь на одном известном пункте, они не хотят глядеть ни вперед, ни назад, наскоро создают себе несколько авторитетов по сердцу и, громко хваля новое поколение, не дают дороги поколению, непосредственно за ними следующему. Тут уж заносчивость ведет к рутине и ничтожеству.

Подобного рода вредные элементы отчасти еще гнездятся в наших литературных кругах, а отчасти и в двигателях новейшей словесности. Нет сомнения в том, что после Пушкина и Гоголя русская литература представила много молодых и сильных писателей, достойных великого уважения как за их дарование, так и за направление. Эти люди сделали весьма много для сближения словесности с действительностью русской жизни, разъяснили нам поэзию вседневного быта нашего, с успехом коснулись многих сторон простого мира, по мере сил своих подходили и к быту русского чиновника, и русского поселянина, и русского помещика, и русского художника, и русского ученого. Твердо держась за правду в искусстве, они служили ей с искренностью и за то награждены были общим сочувствием. Приветливо и радушно встречали они всех новых товарищей по искусству, отдавали справедливость начинающим

талантам, с благородной терпимостью относились к талантам предшествующих периодов литературы. С гордостью можем сказать, что поведение лучших представителей новейшей русской словесности представляет поучительный пример и лучшее подтверждение той истины, что вполне даровитые люди всегда -будут хорошими людьми и в житейских и в деловых отношениях. Но одни лучшие деятели словесности не составляют еще всего круга людей, мнения которых имеют влияние на литературные вопросы. В средних слоях новой словесности, не слишком близких к главному центру литературной деятельности, но и не совсем от него отдаленных, росли и процветали воззрения, от которых почти каждый из первых деятелей нашего периода отказался бы без всякого колебания. В этих слоях жила рутина заносчивости, рутина тем более опасная, что она вертелась на поклонении и лести новому поколению писателей. По этой рутине — русская литература началась лишь с Гоголя. Новейшие деятели ввели искусство на практический путь, дали ему вековечное направление — и мало того, в своих трудах исчерпали весь современный быт русского общества. Их труд есть труд капитальный и всеобъемлющий,

177

за которым могут идти лишь одни перифразы, амплификации и дополнения. Нам знакома вся Россия, мы знаем быт и нравы всех классов русского общества и теперь смело можем братья за обобщения и глубокие теории. Теперь мы можем вполне отдаваться современности и важным общим вопросам, ибо приготовительный труд кончен — литература сделала

свое дело, воссоздала быт русского общества во всех его подробностях.

Результатом подобного скороспелого воззрения были два фальшивых взгляда — и на русское общество, и на даровитых литераторов, его изображавших, включая в их число и Гоголя. Любители рутины, сами не зная России и не сближаясь ни с одним из многочисленных слоев нашего общества, стали глядеть на свое отечество через книги, принимая часть за целое и таким образом составляя себе ложные понятия и о целом и о его частностях. На дне души этих рутинных ценителей сидят мысли такого рода: Гоголь изучил весь русский чиновный быт; после Тургенева и Григоровича мы знаем русского крестьянина как нельзя лучше. Такой-то поэт коснулся всех сторон помещичьего быта, и нам нечего прибавлять к его описаниям. Военной жизни у нас касались редко, но и она схвачена в Максиме Максимыче, Печорине, Грушницком и еще в нескольких повестях, где являются усатые кавалеры с самодовольной осанкой и молодцеватыми приемами. После этого кто же смеет утверждать, что наша литература еще далека от воссоздания *всей* русской жизни, от полного и отчетливого знания *всего* русского общества? Взгляните на нашу текущую словесность. “Боже мой, да чего только у меня нет!” — может сказать она вместе с гоголевским Иваном Ивановичем. “Чего у меня нет!” — даже должна сказать наша молодая словесность всякому скептическому человеку. Это ли не всесторонность, это ли не полное знакомство с практической стороной мира с действительностью и правдой русского общества? Перечтите одни типы русских бар, помещиков, офицеров, поселян, чиновников, типы, воссозданные нашими художниками! Подумайте только об этом — произнесите

одни имена Дмухановского, Акакия Акакиевича, Чичикова, Грушницкого, Пирогова, Чартокуцкого, Бирюка, Калиныча, Петра Иваныча, Ивана Савича, Антона-Горемыки, Лапши, Голядкина и так далее¹. Язык ваш утомится от одних названий, а вы еще смеее утверждать, что наша литература еще немного сделала по части знания

178

русского общества! Или вы считаете ничтожными людьми Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Гончарова, Тургенева, Григоровича и их товарищей?

Нет, господа представители литературной самонадеянности, — можем мы отвечать на это, — мы сами, и, может быть, лучше вас, знаем всю обширность заслуги, которую сделали для литературы русские писатели последнего периода. Может быть, мы глубже вас чтим имена Лермонтова и Гоголя, может быть, мы сами прочнее и горячее вас привязаны к товарищам нашим, ныне живущим и честно трудящимся. Но, уважая их деятельность, радуясь за их дела и воззрения на искусство, мы никак не считаем их непогрешимыми и всесторонними представителями русского мира. Сближение поэзии с действительностью у нас еще не совершено, а только что начинается. Сильнейшие деятели нашего поколения, начиная от Гоголя и кончая Некрасовым, считая от Белинского и заключая Тургеневым, разработали лишь один небольшой уголок неизмеримого русского поля, того поля, над которым будет в поте лица трудиться целый ряд будущих поколений, на славу России и искусству русскому. Еще у нас весьма велико разъединение литературы с

вседневым бытом русского человека, еще все слои нашего общества изучены русскими художниками лишь поверхностно, еще для нас не пришло время пышных теорий и хитрых обобщений, еще мы сами худо знаем русскую землю и русского человека, еще все описания и все типы, вами поименованные, достойны назваться не чем иным, как первыми буквами будущей азбуки, первыми основными камнями предстоящей великой постройки. Если вы имеете слабость думать, что вся служащая Россия исчерпана в Акакие Акакиевиче и Дмухановском, — вы грешите, как ребятишки, и показываете свою неспособность понимать Гоголя. Если вы думаете, что все сельские люди схвачены в Бирюке и Антоне, вы вредите и Тургеневу и Григоровичу, ибо никакой поэт не будет радоваться узкости понятий в своем поклоннике.

Мы должны признаться, что за последние шесть или семь лет появление каждого нового таланта в русской литературе наводило нас на мысли, однородные с вышепрописанными. Когда Островский могущественно и всесторонне представил нам целый ряд новых и нетронутых типов, когда Писемский взялся за простонародную жизнь, создал Петра и Питерщика², когда покойный Кокорев

179

явился с своим “Савушкой”³ и г. С. Аксаков, в своих “Воспоминаниях”⁴, начертал нам картины русского помещичьего быта, новые до мельчайшей подробности, мы уразумели всем сердцем и всей головою, до какой степени узки и самонадеянны все возгласы о нашей

опытности, о нашей литературной практичности, о твердом грунте, на котором стоит наша словесность, о бесконечном нашем проникновении в глубину русской действительности. И нам стало как нельзя понятнее отвращение рутинных ценителей к именам гг. Островского, Аксакова, Писемского, наконец графа Толстого, их младшего, но не слабеющего товарища, *the last not least**, как говорит Шекспир в своей драме. В то время, когда все первые наши писатели радостно приветствовали успех новых сверстников, сближались с ними, хвалили дело, ими сделанное, в средних слоях литературы, о которых мы упоминали, хвала произносилась неохотно и часто сменялась хулой. Если б авторитет первых деятелей не обуздывал и не держал в страхе многих задорных рутинеров, мы бы прочли в лучших наших журналах не один желчный дифирамб против Островского, Толстого и Писемского. Тем более чести старшим литераторам за их сочувствие ко всему молодому и свежему, тем более стыда для ценителей, не умеющих понимать молодых и свежих деятелей в словесности.

В начале настоящей статьи нашей нами названы два произведения, вполне подтверждающие только что высказанное нами заключение о том, сколько новых и почти не тронутых источников поэзии заключается в ежедневном русском быту, если он будет оценен и разработан людьми, понимающими дело. “Военные рассказы” графа Толстого (о котором мы говорили недавно и будем говорить еще по поводу его другой книги “Детство” и “Отрочество”) и “Губернские очерки” г. Щедрина, только что напечатанные в “Русском вестнике”, во всех отношениях должны быть признаны

* последний по счету, но не последний по значению (англ.).

замечательными литературными явлениями. И в тех и в других рассказах, несмотря на то, что их нельзя сравнивать в художественном отношении, видно то, что теперь нам особенно нужно и драгоценно — труд людей, *основательно знающих тот мир, который ими изображается*. Помимо великой поэтической силы графа Толстого, в нем, как в военном рассказчике, нам дорог настоящий русский военный человек, знающий и офицера и солдата. В г. Щедрина ценим мы не столько оригинальность

180

его рассказа, не столько задаток будущих литературных его достоинств, сколько его глубокое знание чиновного провинциального быта, знание практическое и, смеем надеяться, всестороннее. Взглянув на обоих писателей с этой особой точки зрения, мы тотчас же распознаем заслуги, ими сделанные. Оба они, опираясь на прочное знание своего дела, не только взглянули на быт, ими изображенный, с совершенно самостоятельной стороны, но и воссоздали его, по мере своих сил, рядом сцен и типов истинно новых. Посмотрим теперь, что именно каждый из двух названных литераторов совершил по своей части и насколько каждый из них обогатил себя через основательное, честное, совестливое изучение русской действительности. О графе Толстом на этот раз мы не будем говорить с подробностью, потому что за два месяца назад уже охарактеризовали его достоинства как военного рассказчика. Вся читающая публика оценила его талант, и мы не считаем нужным распространяться о том, что хорошо знает сама публика. Но, может быть, еще не

многие из читателей отдают себе полный отчет в том, какой огромный шаг сделан был графом Толстым как живописцем военных сцен по изучению действительной и вседневной жизни военного русского человека. До сих пор между нашими литераторами было весьма мало настоящих военных людей, обстоятельство чрезвычайно невыгодное в том отношении, что нравы и быт военного сословия, столь многочисленного в России, ускользали от пера наших писателей по их малому знакомству с этим нравом и бытом. Сколько ни читай книг, сколько ни встречай офицеров в гостинной, сколько ни гляди на казармы и на солдат во время ученья, военной жизни (точно так же, как и всякой другой жизни) не узнаешь из таких праздных наблюдений. Лермонтов, сам служивший офицером и бывавший под пулями, сделал многое, но мы лишились этого человека, едва успев насладиться его первыми созданиями. После Лермонтова пришло время рутины, ничем не оправдываемой и ничем не извиняемой. Обыкновенно люди, мало знающие и худо изучившие свой предмет, селятся прикрыть скудость свою обобщениями и хитрыми выводами, в которых бывает все, кроме истины действительности. По причине малого знания и страсти к обобщениям наша литература со времени Грушницкого и Максима Максимыча до появления рассказов графа Толстого относилась к русской военной жизни с величавостью

долговязого младенца, нахватавшегося верхов по книжкам и сидящего судить о предметах, ему вовсе не знакомых. Быт русского воина, его интересы и подвиги,

его достоинства и слабости, его возвышенные и темные стороны — все это было незнакомо редким из наших писателей, изредка выводивших военного человека в своих рассказах. Такие писатели действовали двумя путями: или жили на счет Лермонтова, переделывая его типы на свой лад, или, что еще хуже, не зная ни военного быта, ни военных людей, составляли военного человека, подобно немцу-критику, рисовавшему верблюдов не с натуры, но *из сокровенной глубины своего самосознания*⁵. Но сокровенная глубина самосознания вела лишь к пустой дидактике и карающему юмору, не каравшему ровно никого и ничего на свете. Под влиянием этой скудости и развелись в наших романах нигде не существующие типы военных юношей, непременно усатых и самодовольных, комических без комизма, очертанных без знания дела. Старосветские литераторы в офицере изображали непременно красавца и удалца, первого любовника, Вельского или Лидина⁶; повествователи нового поколения бросались в противоположную крайность. Каждый рисовал не с натуры, а от себя, по мастерскому выражению Брюллова, и эта рисовка от себя происходила от того, что из художников никто не изучал натуры, а бродил в сумраке своего сокровенного самосознания. Нам говорят, что военные люди всегда щекотливы на сатиру и что это обстоятельство связывало руки у нравоописателей, но мы сумеем сказать, что, по странной игре случая, эта действительная или воображаемая щекотливость принесла пользу словесности, избавив ее от целого ряда нелепых созданий, целой сотни ложных типов. Кто из новых писателей, после Лермонтова и отчасти Гоголя, мог знать и описывать военного русского человека? Кто из них мог бы сочинить хотя одну страницу из “Набега” и

“Рубки леса”? А между тем поползновение писать военные сцены было у многих, только сцены эти писались бы *от себя*, из сокровенной глубины литераторского самосознания. Нет, мы от души радуемся, что таких сцен у нас писалось немного.

В таком отношении находилась литература наша к военному быту, когда граф Толстой стал печатать свои военные рассказы, ныне собранные в одну книгу и уже получившие в этом новом виде весь успех, какой мы им предсказывали. Первым появился “Набег”, рассказец хорошенький

182

и как будто набросанный с небрежностью, но рассказец, до такой степени исполненный поэзии военной жизни, что многие знатоки литературы, наслаждаясь поэзией “Набега”, почти не отдали справедливости другим сторонам произведения. Действительно, в “Набеге” есть что-то особенно опьяняющее, волнующее душу и не дающее возможности остановиться на прозаической, вседневной стороне рассказа. Эта картина выступления войск, приготовлений к бою, ночлегов под открытым небом, ощущений под первыми пулями, картина смерти и веселости, рыцарства и беззаботности, удалства и унылых минут после набега была действительно пленительна, но не менее пленительны и верны были лица военных людей, выведенных в набеге. Розенкранца и капитана Хлопова еще не бывало в нашей повествовательной литературе. С появлением “Рубки леса” слава образцового военного рассказчика окончательно утвердилась за графом Толстым, в то же

самое время печатавшим свои “Очерки Севастополя”. Сильный талант, наблюдатель и мастер, военный человек, истинный воин по судьбе и призванию сказались читателю самому недальновидному. Нам, пишущим людям, стало радостно думать, что один из наших талантливейших сверстников присутствует с русскими войсками на сцене дивных севастопольских подвигов не только в качестве зрителя и живописца, но в качестве настоящего воина, до тонкости знающего военных людей и военный быт, военные радости и горести военного звания. Русская литература не могла иметь в стенах Севастополя лучшего и надежнейшего представителя. И когда осада кончилась, и когда автор “Рубки леса” вернулся к нам не только целый и здоровый, но еще с “Севастополем в августе” для декабрьской книжки “Современника”, он был встречен в Москве и Петербурге как один из первых русских писателей и чуть ли не единственный знаток поэзии военного быта. Рукопись, им привезенная, не обманула ожиданий наших, и последний очерк Севастополя вышел едва ли не лучше двух первых. После братьев Козельцовых, Вланга совестно вспомнить о военных типах, когда-то выводимых в нашей литературе. Перед *знанием дела* совершенно разрушились все фантастические понятия о военной жизни, так как они описывались до сих пор в литературе нашей. И что до крайности поучительно: у графа Толстого, в его рассказах из военного быта, знание дела всегда идет об руку с несомненной поэзией.

Тут-то и видна справедливость старого сравнения поэзии с вековым и сильным деревом. Чем глубже сидят

корни дерева, тем выше вздымается к небу его вершина. У нас многие поэты думают противное. Не давши своей житейской опытности пустить корень в глубину родной почвы, они думают, что их поэзия вознесется к небу из глубины самосознания и грубых дидактических теорий, Не заложив прочного фундамента, они уже придают изукрашенный вид крыше своей постройки. Оттого их здание валится на бок, оттого их дерево чахнет и хиреет и гнется к земле, а они тому радуются. Это великое несчастье дидактиков, утверждающих нам, что верхушка векового дуба должна стлаться по земле, а не возноситься к небу. В земле должен сидеть корень дерева; если же оно не возносит к небу свои вершины, значит, дерево или гнило, или еще очень молодо.

Переходя от военных рассказов Толстого к “Губернским очеркам” г. Щедрина, от офицеров к чиновникам, от военного быта к быту гражданскому, от шумных полей сражения к тихому отдаленному городу, мы считаем нужным привести здесь один совет сэра Вальтера Скотта начинающим литераторам его времени. “Помните, господа, — говорил честный баронет своим младшим товарищам, — помните, что литература должна быть для нас посохом странника, а не костылем калеки. Любите искусство, служите ему — но не опирайтесь на одно искусство, не забывайте иметь в жизни какую-нибудь практическую деятельность, кроме литературы”. Совет благородного писателя дан был с экономической целью, ибо Скотт хотел им показать недостаточность литературных выгод для обеспечения человека, но в нем есть своя сторона более возвышенная. Чтоб, писать о жизни и людях, надо знать и людей и жизнь в обычных ее проявлениях. Чтобы описывать людей, которые трудятся, служат, хозяйничают, любят и добиваются всего хорошего

в жизни, полезно самому трудиться и служить и добиваться того, что в жизни стоит труда с усилиями. Положим, что великому поэту и сильному писателю в периоде полной зрелости полезно отдаться музам без изъятия, но нет сомнения в том, что и такой сильный человек в свои ученические годы (Lehrjahren) обязан жить жизнью своих сограждан и делить с ними труды их вседневного быта. С книгами, глубиной самосознания и чужеземными теориями не изучишь русского воина, русского помещика, русского

184

чиновника и русского земледельца. Даже входя в круг этих людей дилетантом и праздным наблюдателем, не узнаешь их жизни, их существования и характера. Может быть, мы слишком взыскательны, но нас всегда огорчал в нашей литературе малейший разлад талантливого писателя с интересами или своего сословия, или того быта, который им избран для своих произведений. У нас есть хорошие книги с изображением быта чиновного, книги, в которых кишат промахи, происходящие от незнания законов, административного порядка, судебных дел и так далее. У нас есть рассказы из помещичьего быта, поражающие ошибками по хозяйственной части, ошибками самыми непростительными. При чтении подобных сочинений нам всегда становится грустно, точно так же грустно, как при виде великой неловкости, сделанной дорогим нам человеком. Несколько лет тому назад во время деревенской прогулки один из наших талантливых писателей, много сочинявший о сельском быте, в поле не распознал ячменя и назвал его рожью.

Трудно передать чувства, которые пробудились в нас вследствие этой ошибки, на первый взгляд скорее забавной, чем важной. А она показалась нам очень важна, и мы невольно вспомнили слова сэра Вальтера: “Нельзя опираться на одну литературу, как на костыль. Кроме литературы, необходимо иметь в жизни какую-нибудь практическую деятельность”.

Может быть, наши слова раздражат какого-нибудь фразера, сумрачно сидящего весь свой век в одной квартире одного и того же города, но воображающего себя всеведущим по части военного, чиновного и сельского быта, однако, от слов своих мы никогда не отступимся. Поэзия, то есть цвет жизни, может родиться только из растения, прочно пустившего свои корни в родную почву. А корни нашей словесности сидят еще в этой почве весьма неглубоко. Не для фантазий и утопий поэт рожден на свет, а для сильного труда, сугубого труда, потому, что этот труд двухсторонен. Для изучения быта, им избранного, он должен жить и трудиться в этом быте, сцепляться с ним всеми фибрами своего существования, любить его при всех его несовершенствах, даже отчасти быть несовершенным с ним вместе. Поэт, которого юность прошла в подвигах военного ремесла, как у графа Толстого, в строгом и деятельном помещичьем быту, как у г. Аксакова, в честной и энергической гражданской деятельности, как... как — хоть у Маколея (бывшего секретаря

ост-индского управления и секретаря военных дел) — для нас будет всегда особенно дорог, хотя бы он написал

менее, чем другой поэт, имевший более свободного времени для главной задачи своей жизни. Для поэта в его ученические годы полезнее производить судебные следствия, чем болтать в гостиных, смотреть за сельскими работами, чем читать политические памфлеты, командовать ротою, чем окружать себя толпой фразеров и поклонниц. С удовольствием надо заметить, что наша литература за последнее время понимает это и идет по практической дороге. Если поэзия наша должна быть чиста от случайных и временных примесей, зато житейской деятельности самих поэтов надо проникнуться практичностью и современностью. Лермонтов недаром сказал:

Скорее жизнь в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток!⁷

А напиток этот кажется отравленным только потому, что его мы льем не туда, куда следует.

Мы не отвлекались от предмета статьи нашей, невзирая на длинное отступление. В “Губернских очерках” г. Щедрина, недаром поставленных нами рядом с “Военными рассказами” графа Толстого, сказывается нам писатель, несомненно обладающий *знанием дела* и пониманием быта, им изображаемого. “Губернские очерки” по своему плану напомнили нам знаменитую поэму Крабба “Местечко”, а вступительная их глава, проникнутая поэзией и в художественном отношении самая лучшая из всех глав, еще более утвердила нас в этом случайном, но так много обещающем сближении. Без заданной темы и мизантропических умствований автор приступает к изложению своей задачи, состоящей в том, чтоб передать читателю в ряде разносторонних и

разнообразных очерков весь быт маленького провинциального города Крутогорска.

Давно мы не встречали в описаниях нашего провинциального быта таких светлых и тихих страниц, даже составляющих разлад с последующими главами, в которых выводятся на сцену лица и события вовсе не успокоительного свойства. Но этот разлад есть только разлад кажущийся, а не действительный, ибо г. Щедрин, знакомя нас с плутом подъячим, хитроумным взяточником лекарем и другими мрачными героями прошлых времен, описывает эти лица с тем же *знанием дела*, с которым описал он

186

тишину и успокоительную прелесть маленького своего Крутогорска. С первых приемов рассказчика, невзирая на то что вторая глава его “Очерков” вложена в уста подъячего, вы слышите голос человека, описывающего чиновническую сферу не с чужих слов и не с чужого голоса. По верности и основательности подробностей, по непринужденной прямооте, с какой г. Щедрин подходит к делу, нельзя не признать в нем человека, служившего и знающего службу, да сверх того глядящего на служебные интересы глазом полезного и практического чиновника. Он любит мир, им изображаемый, при всех несовершенствах этого мира, любит потому, что его знает во всей подробности. Знание дела всегда неразлучно с любовью, ибо без привязанности к своему предмету не изучишь даже его поверхностных особенностей. В наше время всякий мизантропический фразер, всякий любитель гуманно-высокопарных фраз силится убедить

публику, что душа его преисполнена любви к человечеству. Мы не дадим гроша за любовь без знания. Мы не дадим копейки за умствования дидактика, говорящего со слезами о честности высокой, о слабостях чиновного люда, а между тем не знающего ни законов своего края, ни порядка служебной деятельности, ни круга действия присутственных мест, ни сферы, подлежащей их ведению. Любовь подобного рода только сбивает с пути, а не наводит на него; только раздражает, а не примиряет. Мы недавно упоминали про воображаемую щекотливость русского человека в деле указания его недостатков — смеем теперь сказать, что щекотливость эта относительна. К писателю, *знающему дело*, толкующему о слабостях, им действительно изученных, русская публика никогда не была строга — Гоголь служит тому живым примером. Но к фразеру, нахватавшемуся общих умственных и судящему о предметах, вполне ему не знакомых, читатель находится в ином положении. От малознающего учителя урок бывает всегда неприятен и скучен. От человека, не знакомого с практической стороной жизни, ни один сметливый ученик не выслушает урока с терпением. “Губернские очерки” г. Щедрина получили у читателей большой успех, несмотря на суровый тон некоторых подробностей и мрачные краски, на которые автор не поскупился в иных этюдах. Если бы хотя часть сказанных мрачных красок пошла на украшение какого-нибудь сухо дидактического голословия, читатель бы возмутился, а в настоящем случае

он испытывает удовольствие и хвалит г. Щедрина. Дело в

том, что наш автор умеет всюду провести, невзирая на темные стороны рассказа, одно честное и доброе лицо, про которое говорил граф Толстой в своем “Севастополе”. Это лицо — истина, не отвлеченная и сухая истина, а истина, живущая своей жизнью и наполняющая собой все части рассказа. Проныра Порфирий Петрович, мрачный грабитель Фейер и другие лица в таком роде не ужасают читателя бесплодным ужасом, ибо это живые люди, списанные с натуры, а не размалеванные страшилища, воплощение заданной мысли и воображаемых пороков. Читатель видит и понимает очень хорошо, что рука, набросавшая портрет какого-нибудь вредного Порфирия Петровича, сумеет и в жизни поймать Порфирия Петровича, взять его за ворот и передать в руки правосудия назло всем козням виноватого. Эта практичность в знании, достоинство весьма редкое в наших писателях, у г. Щедрина очень ясно выражается в главе “Неумелые”, где изображены деяния юноши-чиновника, не лишенного прекрасных убеждений, но до крайности бесполезного по своему неумению взяться за дело. Невзирая на сухость главы и отсутствие в ней движения, она читается легко, ибо богата умом и мыслями. Молодого чиновника зовут Михаилом Трофимычем, он ездит на разные следствия с простым депутатом ратманом Голенковым, говорит ему прекрасные фразы, бранит всех старых чиновников, выражает свое желание и уверенность быть полезным краю, а между тем, вместо пользы причиняет только путаницу и неправду. Где нужно сделать простой опрос, он выдумает штуки в новом роде, переодетый идет в кабак подслушивать людские речи, а за то претерпевает всякие насмешки. Где надо кончить дело строгой мерою, там он только болтает, и, сблизясь с подсудимым, без

злого умысла передается на его сторону. Это не мешает ему спорить с Голенковым, писать длинные, очень длинные бумаги и считать себя светилом полудикого края. Мещанин-депутат, споря с юношей и впоследствии передавая о нем свое мнение, говорит несколько замечаний, над которыми нельзя не призадуматься.

“Что ж, — спрашивает Голенкова сочинитель, — что ж это доказывает? Это доказывает только, что Михайло Трофимович или глуп, или к полицейской службе неспособен. Вот и все”.

“Нет-с, — говорит Голенков, — это, я вам доложу, не от неспособности и не от глупости, а просто от сумленья, да оттого еще, что терпенья

188

нет, прилежности к делу нет. Все думает, что дело-то шутки, что ему жареные-то рябцы в рот полетят. Так врешь! ты сначала поучись, да сам к естеству-то подладься...Ан и выходит, что во всяком деле мало одной честности да доброй воли... Грязью-то не гнушайся, разбери ее, да разобравши хорошенько, и суй в ту пору туда свой нос. Ты, коли служить верой, так по верхам-то не лазай, а держись больше около земли, около земства-то. Если видишь что плохо — ну и поправь, наведи его на дорогу. А то приедет это весь как пушка заряженный, — с честностью, да благонамеренностью. Ты благодетельствуй нам, — слова нет! — да в меру, сударь, в меру, а не то ведь нам и тошно, пожалуй, будет”.

Еще лучше и рельефнее вышли некоторые объяснения Голенкова с Михаилом Трофимычем.

“Вы сами много виноваты, — говорит юноша по поводу разных злоупотреблений, — кабы мол вы разумели, что подлец — подлец и есть, так не смел бы он и рожу свою на свет божий показать”. “Ладно (продолжает Голенков), дал я ему поуспокоиться, да и говорю потом: “Ведь вот ты, ваше благородие, баешь, что мол подлека подлецом называть, а это, говорю, и по христианству нельзя, да и начальство, пожалуй, не позволит. *Этак ты с своего-то ума меня подлецом назовешь, я не подлец совсем, — так на что ж это будет похоже? А настоящий-то подлец за лишней ругачкой на тебя и не полезет: это ему все одно, что ковшик воды выпить...*”

Вот настоящий взгляд на дело — результат прочного знакомства с описываемой автором средою! Пределы статьи нашей не позволяют нам ни дальнейших выписок, ни подробного отзыва о второй части “Губернских очерков”, помещенных в 18 номере “Русского вестника”. Три последние главы совершенно достойны трех первых, из них нам особенно понравилась та, которая называется “В остроге” (пусть читатель не пугается заглавия: в этой главе не найдет он ничего вопиющего и раздирающего). Есть еще одна причина, по которой мы отлагаем наш окончательный приговор над талантом г. Щедрина до окончания его “Губернских очерков”. Художественная сторона писательского дарования всегда находится в неразрывной связи с односторонностью, многосторонностью или всесторонностью этого самого дарования. Между Гомером, охватившим в своих творениях всю жизнь и всю правду своего времени, и между каким-нибудь дидактиком Пруцом, не видящим ничего, кроме своего псевдополитического муравейника,

имеется миллион оттенков, миллион степеней творчества. Сообразно с широтой мирозерцания во все века идет сила таланта в поэтах и прозаиках. Определять талант писателя, основываясь на неконченной вещи и задатках, отрывочно в ней высказанных, было бы с нашей

189

стороны или торопливостью или недобросовестностью. По введению “Губернских очерков” нам видится в г. Щедрина писатель многосторонней силы, по некоторым подробностям глав, следующих за введением, в нем сказывается умный, но не чуждый дидактики деятель. Которая из двух особенностей пересилит и останется за автором, это нам покажет время. До сих пор в его Фрейерах, Голенковых, Порфириях Петровичах мы видим людей живых и мастерски обрисованных, но мы еще не проникаем в ту таинственную сущность вещей, вследствие которой и люди эти, и город, ими населенный, дороги сердцу сочинителя. Гоголь любил Ноздрева и Чичикова, Манилов и Собакевич имели место в сердце Гоголя именно потому, что гоголевское воззрение на людей отличалось могучею всесторонностью, равно охватывающей все стороны жизни и возводящей их в лучезарный фокус поэзии. Довольствоваться обличением дурных сторон изображаемого смертного не есть еще *все* дело поэта — нужно привязать этого смертного ко всем людям, сделать его занимательным, указать в нем человеческие и общие всем нам стороны.

Итак, оканчивая с “Губернскими очерками”, мы можем сказать, что после введения и семи первых глав талантливый автор их очутился на распутии, или, оставя

красоту слова, просто на перекрестке, с которого разные дороги ведут по разным направлениям. Он может вдаваться в односторонность взгляда, он может, руководясь своим несомненным знанием дела, изобразить нам провинциальную жизнь во всей ее полноте, во всех ее до сих пор еще никем не подмеченных проявлениях. Для выполнения задачи, высказанной нам во введении, он имеет весьма многое: и самостоятельность манеры, и любовь к правде, и живую опытность в деле интересов, почти не доступных нашим литераторам. Г. Щедрин, может быть, более чем кто-либо из ныне пишущих людей, понимает поэзию и правду чиновничьей жизни, знаком с бытом и понятием целого многочисленного класса наших сограждан. Он может просто и правдиво говорить о вещах, о которых мы до сих пор мало говорили по причине нашего незнания. Как человек служащий и знающий службу, он должен сделать для нашего чиновного быта то, что граф Лев Толстой сделал для военного. У кого из наших повествователей изображены печальные и радостные ощущения, связанные с разными служебными случаями, например, с потерей и переменой места, с удачно произведенным следствием, с

190

окончанием какого-нибудь запутанного спора, с затруднениями перед началом полезной деятельности и так далее? Стоит взглянуть на всю задачу с этой точки зрения, и ряды лиц, десятки высоко занимательных этюдов сами станут проситься на бумагу. В гражданской провинциальной деятельности откроются герои превосходящего и худого свойства, свои Хлоповы, Розенкранцы, Козельцовы, Вланги, Гальцыны,

Праскухины, которыми мы так наслаждаемся в “Военных рассказах” Толстого. Вместо анализа первого ощущения под пулями мы увидим рассказ о первом ощущении при расследовании какого-нибудь преступления; вместо поэтических ночей на биваке пойдут ночлеги в деревнях и селах, посреди новых лиц, товарищей по занятию, поселян и чиновников, честных служителей Фемиды и зловредных крючкотворов. Где жизнь — там деятельность, где деятельность людская, там свои частицы правды и поэзии. Пусть нравописатель сумеет только уразуметь свою тему, вместе с бытом им изображаемым, и его литературный путь сделается широким путем опытного мыслителя. Рутину, дидактику и повторение задов г. Щедрин может смело предоставить другим, неумелым писателям: употребляем здесь его собственное выражение. С его знанием дела нельзя не быть самостоятельным, с его любовью к правде легко достигнуть всесторонности в таланте.